

На станции Крутой *)

Надоело мне вспоминать о прошлом; каждый раз, принимаясь за это, точно узкий сапог надеваешь; сапог-то хотя и совсем изношен, а все еще ногу жмет. Но вы, красавцы, ведете по всему Союзу Советов такую большую и ценную работу, что отказать вам в желаний вашем—вельзя; это значило бы, что я отказываю в моем уважении вашему труду.

На Крутую (Воропоново. Ред.) я был переведен зимой 89 и 90 г. со станции Борисоглебск, где завезывал почтункой брезентов и мешков, руководя работой веселых казачек, которые работали очень лениво, но ловко воровали мешки для своих хозяйственных нужд и превосходно пели донские песни. Очень помню Серафиму Вдзягину, бойкую «жолнерку», она обладала голосом редчайшей густоты, итальянцы зовут такие голоса «бассо профондо», глубокий бас,—вела она им отлично и любимой песней ее была такая:

«Поехал казак на чужбину далече

На барзом своем, вороном коне».

Эти слова Серафима пела задумчивым говорком, — «речитативом», а хор, голосов двадцать, подхватывал:

«Свою он вранчу на веки потерял.

Ему не вернуться в отеческий дом».

Работали в открытом пакгаузе, на холоде, со степи набегал резкий ветер, перепал бабам лица, точно рашпилем; мимо пакгауза двигались вагоны с хлебом, жмыхом, с подсолнечным маслом; пыхтали, посвистывали, маневрировали, паровозы, а казачки, работая за три гривенника в день, пели торжественно и печально:

«Напрасно казачка его милогая

И утро и вечер до полночи ждет,

Все ждет, поджидает: с далекого

края

Копца ее милый казак прилетит».

Красивые песни были у них; я запомнил десятка три, но один приятель взял их у меня «почитать» и потерял. А Серафима понесла чьи-то мешки в кладовую и попала под пассажирский поезд, ей отрезало колесами левую руку с плечом и голову.

На Крутую меня назначили «сводчиком», но вешать там нечего было, и обязанность моя заключалась в проверке грузов, которые шли на Поворино

*) Очерк «На станции Крутой» был написан автором в пореволюционные годы в ответ на просьбу Сталинградского общества краеведения прислать очерк о работе А. М. Горького на ст. Крутой (теперь Воропоново).

Впервые настоящий очерк-письмо был напечатан в Сталинградской газете «Борьба». Позднее он появлялся в периодической печати. Очерк «На Крутой» не вошел в полное собрание сочинений А. М. Горького.

Пряже-Царицынской дороги и на Калач, Волго-Донской ветки. На вагоны назначения на Калач нужно было перефурчать в вагоны на Поворино товары с Персидского берега из Астары, Узун Ада и др., это я делал вместе со сторожем Черногоревым Крамаренком. Но это случалось не так часто, а главным делом моим была проверка бочек рыбы, которая шла с Волжской через Крутую на Поворино. Обычно с Волжской приходило от 14 до 20 поездов в сутки, состава не более, кажется, шестнадцати платформ. Пока паровоз маневрировал, я бежал с платформы на платформу с накладными в руках, а ночью—еще с фонарем у пояса. Работа требовала некоторого знания акробатического искусства, потому что машинист дергал состав весьма бесперемонно, а бочки—скользкие или обмерзли, прыгать с одной на другую было неудобно, особенно же неудобно зимними ночами, в метель.

Проверять грузы необходимо было, потому что от Волжской на Крутую по подьему поезда шли медленно и этим очень пользовалось удалое казачество,—бочки сельдей, севрюги, бочата икры фокусно исчезали. В ту пору Пряже-Царицынская дорога до того прославилась воровством на ней, что начальнику товарного отдела М. Е. Ададунову разрешено было пригласить на службу «политических неблагонадежных», как людей, которые не умеют и не станут воровать.

**

Почему-то мне кажется, что на Крутой всегда, зимой и летом, бушевал ветер, а в тихие, летние ночи людей истязали комары. Станция стояла «на пустом месте», как говорил ее начальник; кроме станционных зданий, никаких жилищ вокруг нее не было и не было никаких людей, кроме слухающих. По направлению к Волге, верстах, если не ошибаюсь, в двух, существовала деревня Пески, а версты на четыре за степь—небольшая казачья станция, забыл—какая. Ежедневно на Крутой стояли по минуте пассажирские поезда Калач—Царицын; каждый час выотзали с Волжской товарные, катились пустые вагоны и платформы из Калача, с Поворино. День и ночь по путям станции двигались, фыркали, посвистывали локомотивы, случались буфера вагонов, бегали спрелочники, два великомученика, дико орал длинный смазчик Мирославский, бывший семинарист, работал богобоязненный «составитель» Егоршин, бабы и девчаны из Песок чистили путь, но вся эта суета была однообразна, люди всегда одни и те же. И хотя в двенадцати верстах был богатый уездный город со множеством паровозных приставей, с двумя вокзалами, но по ночам я все-таки чувствовал себя заброшенным «к чорту на кулички», в какую-то шумную бесплодную

шину, среди которой, البته, нужно было «слезать ухо остро». Уже в первые дни Мирославский предложил мне очень просто и как нечто обычное «вступить в дело», получить «политику» с каждой крашеной бочки сельдей и по трешнике с места персидского пруса». А когда я сказал, что не пойду на это,—он очень искренно удивился и опросил:

— На кой-же форт нужен ты?

Товарищ по работе, милый человек Крамаренко, предупреждал:

— Ты, Маленьмыч, осторожно ходи, говори, тебя жандарм не любит. Он с Тихомировым обыск делал в казарме, Тихомиров ему книжки-тетрадки твои читал.

А через некоторое время предупредил и сам жандарм, толстый, равнодушный старик Петров:

— Тихомиров жалуется, что ты в бога не веришь, Гумли,—за это не хвалит.

Жандарм, машинист водокатки Мипкович, Егорши и старший телеграфист Тихомиров жили дружно, играли в карты. Помощник начальника станции Ковшов страдал заломом, залом-же читал уголовные романы, он очень бережлив, никому не давал, но в свое дежурство увлеченно рассказывал телеграфисткам, мне и всем, кто хотел слушать, приключения парижских воров и сыщиков. Он был человек болезненно самолюбивый, злой и любил похваляться неудачами и несчастиями своей жизни. Среднего роста, но коротконогий и толстый, он казался маленьким, а лицо у него было серое, как студень, с крупными и неглупыми глазами, с адкой усмешечкой на толстых губах.

Тихомиров, мрачный брюнет, бритый до-синя, был глух, седьмой год учился играть на скрижке, но играл все еще только гаммы: он терпеть не мог людей, которые читают книги, и убеждал Ковшова:

— От книг ты и пьешь.

Было на станции еще несколько уже совсем бесцветных людей, о которых ничего не скажешь. Были женщины, почему-то все беременные, но детей я не замечал, дети прятались по квартирам. У начальника станции две дочери-девицы и тощенькая сердитая жена. Всех этих людей востер зимою содлал снегом, летом—горячим песком, и Черногоров, приютившаяся в ветру, говорил мне:

— Этот—с Уральска. А этот—с верха Волги. Из Красноярска песок.

Черногоров обомел Каспий крутом.

— Как муха по яряям тарелки ополз-опалал—говорил он.

Был он одним из тех русских, обвиняемых людей, которые живут как бы по воле, углубясь в какую-то неисчерпаемую думу. Ко всем окружающим он относился внимательно и ласково, как большой к маленьким, но никогда ничего не учил. Нередко почта я видел, что он, на ходу, точно спотыкался обо что-то и, остановившись, с минуту смотрел под ноги себе.

**

Начальник станции был Захар Ефимович Басаргин. Служебную карьеру свою он начал спреложником на станции Царицын. Это был недюжинный человек, один из тех талантливых русских «самородков», которыми всегда была богата, а особенно теперь может гордиться наша удивительная страна.

Когда я попал под его крепкую и безжалостную руку, ему было лет полсотни, но—сухощавый, крепкий, ловкий, он казался значительно моложе. Лицо у него—копченое, темновоское, в сероватой, растрепанной бороде; под густыми бровями, в глубоких ямах горячие, острые глаза янтарного цвета. Походка легкая, быстрая, на ходу он как-то подпрыгивал, жесты—резкие, голосок—сиповат, но—властный. Меня

он встретил подозрительно и даже враждебно,—я был прислан из Борисоглебска, от управления дороги и, может быть, прислан для шпионажа.

Как человек, прошедший тяжелую школу жизни, он превосходно умел эксплуатировать людей, заставлял их работать так, что только косточки трещали. Станцию держал в образцовом порядке, и скоро я отметил, что хотя служащие уважают его, но боясь, не любят. Они с первых же дней стали настраивать меня против него, но я уже достаточно повертелся «в людях», и не верил, когда мне говорили о человеке слишком плохо. Ангелов на губах моих я не встречал, сам тоже был мало похож на ангела.

Боевые мои отношения с Басаргиным начались с того, что он отказался дать мне комнату в одном из станционных аданий. По должности «всесовещника» я имел право на эту комнату, а Басаргин отправил меня жить в казарму, где жили сторожа и куда часто приходили ночевать бабы и девицы, из Песок, очищавшие пути от снега. Казарма была далеко от станции, примерно—в полуверсте. Ночами к этим местам приходила холостежь станции, не брезговали и жевалье. Конечно—выпивали, веселились. Среди казармы стояла опромная, неуклюжая печь, я помещался между нею и стеной, построив себе нару и стол, а на печи повизгивали бабы. Хотя я был молод и здоров, но энергия моя поглощалась размышлениями над Спенсером и Михайловским, бабы очень мешали мне размышлять. К тому же, они еще взяли привычку издеваться надо мной, а это было уже совсем плохо. И когда одна из девиц, рябая красавица с зелеными глазами, стаян у меня тетрадь, куда я записывал мои соображения по социологии, содрала с нее обложку и, сделав из нее подруге и себе козырьки на глаза, уничтожила запись моя,—я рассердился и решительно потребовал у Басаргина:

— Комнату.

Он тоже рассердился, воткнул в меня глаза, как два шила, показал мне кукиш и было ясно, что ему хочется избить меня. Но вместо этого он сказал:

— Идем.

И привел меня в маленькую, очень светлую и теплую комнату, с двумя окнами—в палисадник и во двор; вся комната с пола и почти до потолка была заставлена горшками цветов.

— Ну, куда-же я цветы помещу, верблюд?—С тоской и с яростью спросил он меня.—Куда? Ты—что, барин? Тебе, торту, может, пуховую перину еще нужно?

И великодушно, со страстью, он рассказал мне, что третий год уже выводит новый вид трехцветной виолы.

— Виола триколов,—понимаешь,—шелтал он мне.—Отставь ты от меня!

В цветоводстве я ничего не понимал, но понял, что от комнаты надо отказываться,—на глазах Басаргина стояли слезы. С этого часа мы подружались, и скоро я почуствовал к Басаргину искреннее уважение, потому что увидел: он умеет не только заставлять работать других, но разумительно эксплуатирует и все свои способности.

Его квартира была обставлена удобной, прекрасно сделанной мебелью, всю ее он сделал своими руками, искусно украсив «рыбьим зубом»,—в песках вдруг стаян ветер обнажал множество каких-то треугольных костей, действительно похожих на зубы акулы. Он занимался гончарным делом,—все цветочные банки делал сам, обжигал их в печи казармы, изобрел полевую, расплавляя бутылочное стекло, подкрашивая его суриком и еще чем-то ярже-синим. Увидя у Грекова, начальника ст. Волжская, «Аристон», модный в то время музыкальный ящик, он сам сделал и «Аристон». Чинил гармоника, со-

вершиествовал токарный станок, на котором работал; варил нефть с графитом, добиваясь сделать мазь, которая бы предохраняла шпалы от гниения. мечтал сконструировать «буксу», чтоб сократить трение оси. Эта бужса особенно сводила его с ума, он рисовал мне ее пальцем в воздухе, паралал ногтем на стенах, чертил карандашом, пером и жаловался:

— Эх, если-б не служба, не дочери! Сделал бы я эту штуку. Сделал бы...

Он ложился спать в полночь, вставал

в пять часов, а остальные девятьнапять вертелся, как обожженный, бегал от гонимого круга к верстаку. пилил, строгал, клеил, пересаживал цветы, варил в котелке на костре какие-то мази, на ходу командовал, рассказывал злые анекдоты.

Весною он бешено обрадовался: распвели его «виолы» и цветы их оказались поразительно похожи на борода-тое челоуечеье лицо с широким синним носом и круглыми глазами.

(Продолжение следует)

(Окончание*).

— Видал, чорт? Ага!—кричал он, подпрыгивая.

Он высадил цветы в клумбы вокзального палисадника, а через несколько дней какое-то важное начальство проехало в Калач, присмотревшись к цветам, захохотало:

— Но — посмотрите! Ведь это — роза Аладурова.

Басаргин тоже визгливо и радостно засмеялся и с той поры не только все на Крутой, но и приозские служаки так и стали называть цветы: «Роза Аладурова».

В весне на Крутой образовался «кружок самообразования», в него вошло пятеро: младший телеграфист Юрин, горбатый злоумный парень, телеграфист с Кривой Музги Ярославцев, «монтер весов» — а прочие сказать — слесарь Верин, разсказавший по станциям проверять точность весов «Фербенкс», и царьинский заборщик, он же переплетчик Лахметко, переплетавший книги Ксенопова, человек необыкновенной душевной чистоты. Он был старше всех нас по возрасту и моложе всех душой: тоненький, стройный, светловолосый, с голубыми глазами, глаза его ласково и радостно улыались всему на свете, хотя он «подкильш», безродный человек прожил на земле уже 27 очень трудных лет.

По характеру моей работы я не мог ни на час отлучиться со станции и связь с Царицыным была возложена на Лахметку. Я познакомил его с «подназорными» города. — в то время там жили: М. Я. Назаров, бывший якуторовский есылный, Соловьева — невеста сидевшего в тюрьме казанского марксиста Федосеева, студент Подбельский, убитый в Якутске во время известного «вооруженного сопротивления власти», саратовцы братья Степановы, только что приехавшие из Березова, из есылных, поручик Матвеев и еще несколько человек. Эти люди снабжали нас книгами, каждую субботу Лахметка при-

езжал на Крутую. Верин и Ярославцев тоже являлись более или менее аккуратно, и по ночам в телеграфной мы читали брошюру А. И. Баха «Царь-голод», «Календарь народной воли», литографированные брошюры Л. Толстого, рассуждали по Михайловскому о «прогрессе», о том, какова «роль личности в истории». Лахметке эта роль была особенно понятна; существует на земле, в России, в Царицыне какая-то обидная и непопятная чепуха, теснота, и все это необходимо уничтожить. Начинать надобно с истребления сусликов, саранчи, комаров и вообще всего, что извне мешает людям жить. А очистив землю от различных пустяков, расселить по ней городских жителей, чтоб они не теснились, не мешали друг другу.

— Чтоб каждый гадил на своей земле, а не у соседа, — объяснял злоумный Юрин. У меня не было такого разработанного плана спасения людей от плохой жизни, но я с Лахметкой не спорил: все равно с чего начать дело, лишь бы поскорее начать. Не спорил и потому еще, что Лахметка был совершенно глух к возражениям, когда с ним не соглашались; он смотрел на несогласного так красноречиво, что было ясно: уступить он ни в чем не может, хоть на огне его жарь!

Иногда к нам заходил Черногоров и, постояв, послушав, решительно говорил: — Все эти разговоры-словоторы ничего, парни! Мала пчела, а и та без бога не живет, а вы хотите без бога.

Но с богом у него отношения были тоже неладные; не нравилось ему, что бог спорил медведям сорок человек детей за то, что они посмеялись над лысиной пророка Елисея, и хотя я, «ученый», сомневался в том, чтоб медведи водились там, где гулял пророк. — Черногоров, отмахиваясь от меня, увещевал:

— А ты брось это! Не маленький, пора перестать книжкам верить.

Но еще больше, чем богова жестокость к детям, смущал его тот факт, что бог неизвестно для чего создал землю не везде одинаково плодородной и слишком обильно посypал ее песком.

* Начало см. в «Г. Р.» № 70.

— По тот бок Каспия песку насыпано
— и-и-бутры! Конца-краю нет пескам.
Это я не понимаю, — зачем же?

Да, так вот мы и жили. Чтенно и беседы наши прерывались стуком телеграфного ключа, и по треску этому мы знали, когда соседняя станция спрашивает:

— Могу ли отправить поезд №...?

Через некоторое время на станцию вкатывался поезд и я бежал считать бочки.

Басаргин о наших ночных собраниях знал, и если ему не спалось, приходил к нам в ночном белье, босой, востроухий, паломнича сумашедшего, который только что убегал из больницы.

— Ну, катай, катай, я не мешаю! — говорил он, присаживаясь в кнотре перед окошком телеграфа, но не мешал минут три, пять, а затем, положив волосятый подбородок на полочку перед окошком, спрашивал нас, насмешливо поблескивая глазами:

— Будто понимаете что-нибудь? Вре-те. Я внятеро умнее вас, да и то ни слова не понимаю. Челуху читаете. Вы лучше послушайте настоящее..

«Настоящее» было очень далеко от «теории прогресса» и Спенсера учения о «палорганическом развитии», настоящее бойко рассказывало о том, как «личность» — стрелочник Захар Басаргин — лезла сквозь якие заросли цеворыбно оскорбительной и трудной действительности к своей цели.

— Каждый должен жить, как в церкви, — учил он нас, — чтобы все вокруг блестяло, и сам гори, как свеча. Трудов не боясь!

Слушая его живую, напористую речь, было не менее интересно, чем разбираться в трудной словесности Спенсера и Михайловского. Я слушал жадно. Человек нравился мне, а дела его — не очень. Вероятно, Захар Басаргин был одним из первых людей, наблюдая которых, я укрепился в убеждении, что сам по себе человек хорош, даже — очень хорош! А вот делшки его, жизнь его.. так себе. Делшки-то могли бы лучше быть.

Теперь я дожид до времени, когда у всех людей есть возможность, а у многих и охота делать большие дела, и вот я вижу, — делают! Значит, — не ошибся; че-

ловек особенно хорош, когда он понимает, что кроме его самого — никаких чудес на земле нет, и что все хорошее на ней создается его волею, его воображением, его разумом.

Большинство людей на Крутой относилось ко мне враждебно. Ковшов подозревал, что Басаргин хочет женить меня на своей старшей дочери и продвинуть на его, Ковшова, место. Тихомирову я мешал потому, что он сам давно прицеливался на место Ковшова, а, кроме того, он привык видеть себя умнейшим человеком на станции, с людьми разговаривал снисходительно, и с ним никто, кроме Басаргина, не спорил. Но мне часто и легко удавалось доказать поклонникам его ума, что он — невежда и враль, а люди типа Тихомирова считают разоблачения их вранья — кровным оскорблением. Машинист водскачки, страстный, но несчастливый картежник, имел дурную привычку бить свою чахоточную жену и косягленскую племянницу Юлию, которую все звали Жуликом за то, что она год назад похитила у кого-то печеное яйцо; с машинистом у меня «произошло столкновение на кулаках, после чего оба публично разодрались», как написал в рапорте жандарм Петров, медленно умиравший от сахарного мочеизнурения и поэтому равнодушный ко всем людям на станции. Егоршин благочестиво несправедил меня за безбожие и еще больше за то, что я дружил с Краморенком, который тихо и упорно ухаживал за его молодой, но до истерички замученной женой.

Однако, враги мои не могли не признать за мной некоторых достоинств: я научил всех баб станции печь хлеб лучше, чем они пекли; научил их делать сдобное тесто, варить пельмени и многим другим кулинарным премудростям. Я заливал худые резиновые калоши, вставлял стекла в рамы и вообще немножко помогал бабам жить, кое в чем помогал и мужьям, делая это от избытка силы и от скуки однообразных трудовых дней. Было признано, что я «образованнее» Тихомирова, о котором Басаргин говорил:

— Никуда эта дубина не годна, кроме как жениться. В его года Христа уже

распяли, Скобелев генералом был, а он все еще в дураках стоит.

Ежедневно по три часа Тихомиров играл гаммы,—Басаргин уговаривал его:

— Ты бы пожалел скрипку-то, лучше пилил бы старые пшалы на дрова.

Тихомиров, делая каменное лицо, урчал:

— Вы не можете музыку щепить, у вас уши волосами заросли.

А меня прямодушный Захар Ефимович убеждал:

— Сютука нет у тебя? Плюнь на стартук. Умишко есть? Работать можешь? Выбери девицу, женись и делай жизнь по вкусу.

Программа эта не улыбалась мне, хотя между мной и старшей дочерью Басаргина уже возникла взаимная симпатия; девушка уже несколько раз слушала наши ночные беседы и чтения, сидя в саду под оловом телеграфной,—входить к нам ей запрещала мать, очень сердитая женщина.

Все это благополучие кончилось неожиданно и необыкновенно. Старые служаки Грязе-Царицынской дороги всецело старались «подсизживать ададуровцев», мешавших воровству в товарном отделе; пустились на различные хитрости и подлости, чтобы замарать «неблагонадежных» поднадзорных. Начальником станции Калач был некто Артобалеvский, кажется, бывший полицейский чиновник, а смотрителем товарных складов на Калаче служил киевлянин Амвросий Кулеш, бывший ссыльный, маленький, суетливый и не совсем душевно здоровый человек лет сорока. Амвросий Семенович очень любил птиц, и однажды Артобалеvский застал его, когда он, доставая из распоротого мешка горстями просо, бормил им голубей и воробьев. Артобалеvский послал на него донос в правление дороги, обвиняя в порче и хищении груза. Кулеш был вытребован в Борисоглебск для объяснений, поехал и—пропал.

А через несколько дней в «Царицынском листке» появилась корреспонденция, сообщавшая, что между станциями—если не ошибаюсь—Грибановка и Терповка найден труп, по документам при нем установлено, что это—смотритель товарных складов ст. Калач А. С. Кулеш, а в записке, найденной при трупе, сказано, что Кулеш покончил с собой, будучи оскорблен несправедливым извещением.

«Ададуровцы» и все «порядочные» люди возмутились, начальник дороги Надеждин заставил духовенство Борисоглебска служить панихиду по самоубийце и атеисте. В Царицыне решили сделать то же самое.

За мной приехал на Крутую Лахметка, и вот мы с ним отправились в город, идем по улице, а по другой ее стороне навстречу нам бойко шагает покойник Кулеш.

— Вот, черт, до чего на Кулеша похож!—удивленно пробормотал Лахметка, но в следующую минуту мы оба убедились, что не «похож», а воскрес из мертвых, снял шляпу и, превесело улыбаясь, размахивает ею.

Затем он встал перед нами, настоящий, живой, с бородкой, в розовом галстуке и радостно смеясь, спросил:

— Испугались?

И весьма оживленно сообщил нам, что корреспонденцию о смерти своей он сам написал и послал в листов.

— Чтобы всем сукиным детям стыдно было—убили человека за горсть проса!

Его жуденькое, счастливое лицо было лицом человека, явно и радостно безумного.

Панихида, конечно, не состоялась, но разыгрался большой скандал на удовольствии всех врагов «поднадзорных», хотя Кулеша отправили куда-то в лечебницу. История эта немедленно стала известна по всей дороге, на Крутой меня стали немножко травить. А потом явился инспектор движения Сысоев, бывший офицер гвардии, большой, толстый, сипецкий, потевший голубым жиром. Тягая меня пальцем в плечо, он ядовито хралел:

— Ну, что, а? Нигилисты, а? Просо воруют? Честные люди! Хо-хо-хо!

После этого меня, с благословения начальства, начали травить уже как собаку, и я решил уйти.

— Терпи! Обойдется!—утешал и уговаривал меня милейший Захар Ефимович Басаргин.

Но способность терпеть у меня слабо развита, и, сложив свои книжки в котомку, отказавшись от бесплатного билета до Царицына, вечером дождливого дня я отправился пешочком с Крутой в Москву. Вот и все.